

ГЕРМАН ГЕССЕ

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО КЛИНГЗОРА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.112.2-3
ББК 84(4Гем)-47
Г43

Серия «Эксклюзивная классика»

Hermann Hesse
KINDERSEELE
KLEIN UND WAGNER
KLINGSORS LETZTER SOMMER

Перевод с немецкого *С. Апта*

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фереца*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Печатается с разрешения издательства
Suhrkamp Verlag GmbH & Co. KG.

Гессе, Герман.

Г43 Последнее лето Клингзора : [сборник] / Герман Гессе ; [пер. с нем. С. Апта]. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 224 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-104635-4

Три повести Германа Гессе — «Душа ребенка», «Клейн и Вагнер», «Последнее лето Клингзора» — впервые были изданы, по настоянию автора, единым сборником еще при его жизни и с тех пор неизменно публикуются вместе.

Но почему сам писатель считал взаимосвязанными столь разные на первый взгляд произведения? Что общего у историй о маленьком мальчике, терзаемом муками совести из-за горстки украденных сладостей, мелком служащем, бежавшем за границу с похищенными у фирмы деньгами, и умирающем великом художнике, который проводит в горах последнее лето в своей жизни?

Секрет этой неочевидной внутренней связи на самом деле прост: герои всех трех повестей Гессе — люди, переживающие кардинальный слом и переоценку собственной системы ценностей.

УДК 821.112.2-3
ББК 84(4Гем)-47

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2001

© Перевод. С. Апт, наследники, 2017

© Издание на русском языке

ISBN 978-5-17-104635-4 AST Publishers, 2024

ДУША РЕБЕНКА

Порой мы совершаем какие-то действия, уходим, приходим, поступаем то так, то этак, и все легко, ничем не отягощено и как бы не обязательно, все могло бы, кажется, выйти и по-другому. А порой, в другие часы, по-другому ничего выйти не может, ничего необязательного и легкого нет, и каждый наш вздох определен свыше и отягощен судьбой.

Те дела нашей жизни, которые мы называем добрыми и рассказывать о которых нам бывает легко, почти сплошь принадлежат к этому первому, «легкому» роду, и мы легко о них забываем. Другие дела, говорить о которых нам тяжело, мы никогда не можем забыть, они в какой-то степени больше наши, чем те, и длинные тени их ложатся на все дни нашей жизни.

В наш отцовский дом, большой и светлый дом на светлой улице, ты входил через высокий подъезд, и сразу тебя обдавали сумрак и дыхание сырого камня. Высокая темная прихожая молча принимала тебя, пол из плит красного песчаника вел с легким подъемом к лестнице, начало которой виднелось в глубине в полумраке. Тысячи раз входил я в этот высокий подъезд и никогда не обращал внимания ни на него, ни на прихожую, ни на

плиты пола, ни на лестницу; и все-таки это всегда бывал переход в другой мир, в «наш» мир. Прихожая пахла камнем, она была темная и высокая, лестница в глубине ее вела из темного холода вверх, к свету и светлому уюту. Но всегда сначала были прихожая и суровый сумрак, а в них что-то от отца, что-то от достоинства и власти, что-то от наказания и нечистой совести. Тысячи раз ты проходил эту прихожую со смехом. Но иногда ты входил и сразу оказывался подавлен, чувствовал страх, спешил к освобождающей лестнице.

Когда мне было одиннадцать лет, я как-то пришел из школы домой в один из тех дней, когда судьба подстерегает нас в каждом углу, когда легко может что-нибудь произойти. В такие дни любая душевная неурядица и незадача словно бы отражается в нашем окружении, обезображивая его. Недовольство и страх гнетут наше сердце, и мы, ища и находя вне себя мнимые их причины, видим мир плохо устроенным и всюду натываемся на препятствия.

Так было и в тот день. С самого утра меня угнетало — кто знает почему, может быть, из-за ночных снов — чувство, похожее на нечистую совесть, хотя я ничего особенного не натворил. У отца было утром страдальческое и упрекающее выражение лица, молоко за завтраком было теплое и невкусное. В школе, правда, никаких огорчений на мою долю не выпало, но и там все опять казалось безотрадным, мертвым и удручающим, соединившись в том уже знакомом мне чувстве бессилия и отчаяния, которое говорит нам, что время бесконечно, что мы на годы, навеки останемся ма-

ленькими и безответными под гнетом этой дурацкой, противной школы и что вся жизнь бессмысленна и отвратительна.

Досадовал я в тот день и на моего тогдашнего друга. С недавних пор я дружил с Оскаром Вебером, сыном машиниста, не зная толком, что тянет меня к нему. Недавно он хвастался тем, что его отец зарабатывает семь марок в день, а я неудачу ответил, что мой — четырнадцать. Он сразу поверил и проникся ко мне уважением; с этого все и началось. Несколько дней спустя мы с Вебером заключили союз, заведя общую копилку, чтобы потом купить пистолет. Пистолет лежал в витрине скобяной лавки, тяжелая штука с двумя синеватыми стальными стволами. И Вебер подсчитал, что если экономить по-настоящему, то можно будет довольно скоро купить его. Ведь деньги случаются всегда, он часто получает по десяти пфеннигов на карманные расходы, а иногда находишь прямо на улице или деньги, или какие-нибудь ценные вещи, например, подкову, слиток свинца и тому подобное, которые вполне можно продать. Десять пфеннигов он тут же и дал для нашей копилки, и они убедили меня, и весь наш план показался мне осуществимым и многообещающим.

Когда я в тот день входил в нашу переднюю и холодный, как в погребу, воздух смутно напомнил мне тысячи неприятных и ненавистных вещей, какие существуют на свете, мысли мои были заняты Оскаром Вебером. Я чувствовал, что не люблю его, хотя его добродушное лицо, напоминавшее мне одну прачку, было мне симпатично. Привлекали меня не его личные качества, а что-то дру-

гое, я бы сказал, его положение — нечто такое, что он разделял почти со всеми мальчиками его типа и происхождения: какое-то дерзкое умение жить, нечувствительность к опасностям и обидам, близкое знакомство с практическими мелочами жизни, с деньгами, лавками и мастерскими, с товарами и ценами, с кухней, стиркой и тому подобным. Такие мальчики, как Вебер, которым побои в школе, казалось, не причиняли боли, мальчики, состоявшие в родстве и дружившие со слугами, извозчиками и фабричными девицами, — они занимали в мире другое, более твердое положение, чем я; они были как бы взрослее, они знали, сколько зарабатывает в день их отец, и знали, несомненно, еще многое, в чем я был несведущ. Они смеялись над выражениями и шутками, которых я не понимал. Они вообще умели смеяться так, как мне не было дано, на какой-то грязный и грубый, но бесспорно взрослый и мужской лад. Что из того, что ты был умнее их и знал в школе больше! Что из того, что ты был лучше одет, умыт и причесан! Напротив, именно эти различия шли им на пользу. В мир, видевший-ся мне в каком-то сумеречном и авантюрном свете, такие мальчики, как Вебер, могли войти, казалось, без всяких трудностей, а для меня мир был совершенно закрыт и каждую дверь в него надо было брать с бою, без конца взрослея, отсидывая уроки, держа экзамены и воспитываясь. Естественно, что такие мальчики находили на улице подковы, деньги, получали плату за услуги, поживлялись в лавках на даровщинку и всячески процветали.

Я смутно чувствовал, что моя дружба с Вебером и его копилкой была не чем иным, как тоской

по этому миру. В Вебере для меня не было ничего достойного любви, кроме его великой тайны, благодаря которой он был ближе, чем я, к взрослым, жил в неприкрытом, более голом, более грубом мире, чем я со своими мечтаньями и желаньями. И я наперед чувствовал, что он разочарует меня, что мне не удастся вырвать у него его тайну, его магический ключ к жизни.

Он только что простился со мной, и я знал, что сейчас он идет домой вольготным, неторопливым шагом, посвистывая и наслаждаясь, не омраченный никакой тоской, никакими предчувствиями. Когда он встречал служанок и фабричных и наблюдал их загадочную, может быть, чудесную, а может быть, преступную жизнь, для него она не была загадкой, страшной тайной, опасностью, чем-то диким и любопытным, а была такой же естественной, знакомой и родной, как утке вода. Вот как обстояло дело. А я — я всегда буду сбоку припека, в одиночестве и неопределенности, полон догадок, но лишен уверенности.

Вообще в этот день жизнь снова была безнадежно безвкусна, сам день чем-то походил на понедельник, хотя была суббота, от него пахло понедельником, который втрое длиннее и втрое скучнее других дней. Проклятой и противной была эта жизнь, она была лжива и тошнотворна. Взрослые делали вид, будто мир совершенен и они сами — полубоги, а мы, мальчики, просто отребье. Эти учителя!.. Ты чувствовал в себе честолюбивые порывы, ты искренне, всей душой устремлялся к добру, пытаешься ли выучить греческие неправильные глаголы или содержать в чистоте одежду,

слушаться родителей или молча, героически сносить любую боль и обиду, — да, снова и снова, пылко и благочестиво ты поднимался, чтобы посвятить себя Богу, идти идеальной, чистой, благородной стезей к вершине, жить в добродетели, безропотно сносить зло, помогать другим — увы, снова и снова это оставалось попыткой, стремлением, коротким вспархиваньем! Снова и снова, уже через несколько дней, о, даже через несколько часов, случалось что-нибудь, чему не следовало быть, что-нибудь скверное, огорчительное и постыдное. Снова и снова ты вдруг непременно падал с высоты самых упорных и благородных намерений и обетов назад, в грех и подлость, в обыденность и пошлость! Почему ты в душе так хорошо и глубоко понимал и чувствовал красоту и правильность добрых порывов, если вся жизнь (в том числе и взрослые) неизменно воняла пошлостью и неукоснительно вела к тому, чтобы торжествовали низость и подлость? Как это получалось, что утром в постели или ночью перед зажженными свечами ты связывал себя священной клятвой с добрым и светлым, призывал Бога и объявлял вечную войну всяким порокам, а потом, может быть всего через несколько часов, самым жалким образом отступался от этого намеренья и обета, пускай лишь подхватив чей-нибудь соблазнительный смех или согласившись выслушать какой-нибудь глупый мальчишеский анекдот? Почему так? Неужели у других было по-другому? Неужели герои, римляне и греки, рыцари, первые христиане — неужели все они были другими людьми, чем я, лучше, совершеннее, без дурных

желаний, наделенными каким-то органом, которого у меня не имелось и который не позволял им снова и снова падать с небес в обыденность, с величественных высот в болото низменного и жалкого? Неужели этим героям и святым был неведом первородный грех? Неужели все святое и благородное было уделом только немногих, только редких избранных? Но почему, если я, значит, не был избранныком, мне все-таки были присущи это стремление к прекрасному и благородному, эта неистовая, надрывная тоска по чистоте, по доброте, по добродетели? Разве это не насмешка? Неужели так заведено в Божьем мире, чтобы человек, мальчик, носил в себе одновременно все высокие и все злые стремленья, чтобы он, существо несчастное и смешное, страдал и отчаивался на потеху взирющему на него Богу? Неужели так заведено? Но тогда — разве тогда весь мир не дьявольщина, только того и заслуживающая, чтобы на нее наплевать?! Разве тогда Бог не изверг, не безумец, не глупый, гадкий фигляр?.. Ах, и в те самые мгновения, когда я не без сладострастья предавался этим мятежным мыслям, робкое мое сердце уже трепетало, наказывая меня за богохульство!

Как отчетливо через тридцать лет вижу я снова перед собой ту лестничную клетку — с высокими подслеповатыми окнами, выходящими на близкую стену соседнего дома и дававшими очень немного света, с добела выскобленными еловыми лестницами и площадками, с гладкими перилами твердого дерева, до блеска отполированными оттого, что я тысячи раз опрометью по ним съезжал! Как ни далеко от меня детство, как ни кажет-

ся оно мне в целом непонятным и сказочным, я и поныне прекрасно помню все страдание и весь разлад, которые жили во мне уже тогда, среди счастья. Все эти чувства были уже тогда в сердце ребенка тем, чем они оставались всегда: сомнением в собственной полноценности, колебанием между самомнением и малодушием, между презирающим мир идеализмом и обыкновенной чувственностью, — и так же, как тогда, я сотни раз и позднее видел в этих чертах моей природы то позорную болезнь, то почетное отличие, и я верю порой, что этим мучительным путем Бог хочет привести меня к особому одиночеству и глубине, а порой не вижу во всем этом ничего, кроме свидетельства жалкой слабохарактерности, невроза, от которых тысячи людей страдают всю жизнь.

Если бы мне надо было свести все это мучительное противоборство чувств к какому-то главному ощущению и определить его каким-то одним названием, то я не нашел бы другого слова, как «страх». Страх, страх и неуверенность — вот что испытывал я во все эти часы отравленного детского счастья: страх перед наказанием, страх перед собственной совестью, страх перед движениями моей души, на мой тогдашний взгляд, запретными и преступными.

В час, о котором я повествую, это чувство страха вновь охватило меня, когда я по все более светлеющей лестнице приближался к стеклянной двери. Оно начиналось с теснения в животе, которое поднималось к горлу и там переходило в удушье или тошноту. Одновременно в такие минуты, и на этот раз тоже, я чувствовал ужасное смущение, не-

доверие к любому, кто мог бы меня увидеть, потребность уединиться и спрятаться.

С этим неприятным и мерзким ощущением, с ощущением, что я настоящий преступник, и вошел я в коридор и гостиную. Я чувствовал: сегодня добра не жди, что-то случится. Я чувствовал это, как чувствует барометр изменившееся атмосферное давление, с безысходной пассивностью. Ах, вот оно снова, это невыразимое! Бес прокрался в дом, первородный грех щемил сердце, невидимым исполином таился за каждой стеной некий дух, некий отец и судья.

Я еще ничего не знал, все было еще только догадкой, предчувствием, щемящей неловкостью. В таком состоянии лучше всего бывало заболеть, да еще чтобы тебя вырвало, и улечься в постель. Тогда иной раз все обходилось благополучно, появлялась мать или сестра, тебя поили чаем, ты чувствовал любовь и заботу и мог поплакать или уснуть, а потом проснуться здоровым и бодрым в совершенно изменившемся, освобожденном и светлом мире.

В гостиной матери не было, а на кухне была только прислуга. Я решил подняться к отцу, в чей кабинет вела узкая лестница. Хотя я и боялся его, иногда было все-таки хорошо обратиться к нему, перед кем я столько раз бывал виноват. Найти утешение у матери было проще и легче; но отцовское утешение было ценнее, оно означало мир с судящей совестью, примирение и новый союз с добрыми силами. После неприятных разговоров, расследований, признаний и наказаний я часто выходил из отцовской комнаты добрым и чистым, правда

наказанным и отчитанным, но полным новых намерений, набравшись у могучего союзника сил для борьбы со злом. Я решил сходить к отцу и сказать ему, что мне плохо.

И я поднялся по лестничке, которая вела в кабинет. Эта лестничка со своим особым запахом обоев и сухим звуком пустотелых легких деревянных ступеней была существенным рубежом, вратами судьбы в куда большей мере, чем прихожая; по этим ступеням был мною проделан не один важный путь, я сотни раз поднимался по ним, таща в себе страх и угрызения совести, упрямство и дикую злость, и нередко уносил с собой на обратном пути освобождение и новую твердость. Низ нашего дома был во владении матери и детей, там дышалось вольготно; здесь наверху обитали власть и ум, здесь были суд, и храм, и «отцовское царство».

Не без робости, как всегда, нажал я на старомодную ручку и приотворил дверь. Отцовский кабинет встретил меня знакомым запахом; его издавали дыхание книг и чернил, разбавленное голубым воздухом из полуоткрытых окон, белые, чистые занавески, чуть слышное дуновение одеколona и обычное на письменном столе яблоко... Но комната была пуста.

Я вошел с чувством полуразочарования-полуоблегчения. Стараясь приглушить свои шаги, я пошел на цыпочках, как нам здесь наверху надлежало ходить, когда отец спал или у него болела голова. И как только эта тихая ходьба дошла до моего сознания, у меня застучало сердце, и я с новой силой почувствовал тревожное теснение

в животе и в горле. Крадучись и со страхом я шел дальше, за шагом шаг, и вот уже я был не просто пришельцем или просителем, а незванным, самовольно вторгшимся гостем. Не раз уже я тайком пробирался в отсутствие отца в обе его комнаты, не раз уже осматривал и обследовал тайное его царство, а дважды и кое-что похищал там.

Воспоминания об этом тут же захватили меня, и я сразу понял: теперь быть беде, теперь что-то случится, теперь я сделаю что-то запретное и дурное. О бегстве и мысли не было! Вернее, я думал, страстно и лихорадочно думал о том, чтобы убежать, побежать вниз по лестнице и в свою каморку или в сад, но я знал, что не сделаю этого, не смогу сделать. Я от всей души хотел, чтобы отец зашевелился в соседней комнате, чтобы он вошел сюда и разрушил это ужасное, бесовской силой завлекавшее меня колдовство. О, если бы он вошел! Если бы он вошел, пускай выругал бы, лишь бы вошел, пока не поздно!

Я кашлянул, чтобы выдать свое присутствие, и, не получив ответа, тихонько позвал: «Папа!» Все было тихо, у стен молчали стройные ряды книг, створка окна двигалась на ветру, и от этого по полу шмыгал зайчик. Никто не освободил меня, а во мне самом не было свободы поступить не так, как того хотел бес. От ощущения, что я преступник, у меня сжался желудок и похолодели кончики пальцев, сердце мое трепыхалось. Я еще совершенно не знал, что я сделаю. Знал только, что нечто скверное.

Подойдя к письменному столу, я взял в руки какую-то книгу и прочел ее английское загла-